

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

ВАДИМ КОЖИНОВ

Глава 17

КЛАССИКА И МЫ

Кожинов с насмешливым недоумением отнёсся к словосочетанию “тихая лирика”, справедливо полагая, что к большинству поэтов, входивших в его “кружок”, это определение не имеет никакого отношения. В то же самое время он согласился с тем, что на рубеже 60–70-х годов набрала силу определённая тенденция в отечественной поэзии, тенденция, отнюдь не сводившаяся к “тихости”.

“В конкретных суждениях критика, — писал Кожинов о статье Лавлинского, — немало справедливого, но сами эти определения (“тихая” и “громкая” лирика. — С. К.) едва ли удачны.

Во-первых, поэзия призвана быть громкой или даже кричать только тогда, когда это действительно необходимо, когда это диктуется, так сказать, самим состоянием мира... Но быть громким ради громкости опасно; можно получить записку, которую получил на своём вечере один поэт (Е. Евтушенко. — С. К.): “Когда у человека на душе пустота, то для него есть два пути: или молчать, или кричать. Почему выбрали второй путь?”

Во-вторых, дело не в “тишине”; это лишь следствие, лишь побочное свойство. Суть состоит, скорее, как раз в принципиальной простоте, в прозрачности, которая должна помочь снять всё внешнее, всё необязательное и обрести то, без чего уже вообще нельзя ни творить, ни жить”.

Новые книги, в которых Кожинов увидел обновлённое человеческое и бытийное состояние, — “Прозрачные дни” Анатолия Жигулина, “Прощание с первой любовью” Василия Казанцева, “Окрестность” Дмитрия Голубкова... Он разбирал заглавия поэтических сборников, вышедших на пороге десятилетий, и видел, что “в них почти совершенно отсутствует метафоричность, условность, нарочитая символика. Они как бы стремятся лишь к тому, чтобы непосредственно поставить перед нашим воображением то или иное явление в его ничем не замутнённой естественной сущности”. Этот “перелом” (не только, естественно, в книжных заглавиях), как определил Кожинов, начался в середине 60-х годов, а его пик пришёлся на начало 70-х.

Впрочем, здесь Кожинов сформулировал несколько принципиальных положений, которые могут показаться неожиданными для привыкших к его “хрестоматийному” облику.

“Я не склонен полагать, — писал он, — что перелом в поэзии, о котором сейчас идёт речь, означает “возрождение традиций” в обычном, популярном

смысле этого понятия”. И пояснил, что для того же Владимира Соколова “первостепенное значение имеют... стилевые искания Пастернака (хотя по своей внутренней сути эти поэты очень далеки). Даже своего любимого Фета Соколов воспринял во многом в ключе Пастернака”. Что же касается Рубцова, “то его, конечно, трудно представить себе без властного есенинского воздействия, и его отношение к Пушкину, Лермонтову, Некрасову опосредовано именно этим истоком. Короче говоря, о прямом “продолжении” классики ни в том, ни в другом случае говорить не приходится. И всё же понятие традиции необходимо при разговоре о сегодняшнем состоянии поэзии”.

Кожин выступил против самодовлеющего профессионализма в поэзии, указав на то, что “классическая русская поэзия в её вершинных проявлениях всегда относилась к профессионализму если не отрицательно, то весьма подозрительно. Дело поэта понималось не как реализация “умения” в самых разнообразных его формах, но как воплощение самой жизни поэта. Ни искренность формы, ни артистизм, ни даже яркость мысли не могли перевесить этой высшей ценности”. Наконец, что было совершенно неожиданно как для противников, так и для многих единомышленников, он продемонстрировал недоверие к абсолютизации поэтического таланта, указав, что талант есть только способность, обосновав свою точку зрения неожиданным для многих пассажем:

“Я глубоко убеждён в том, что поэт, значительно превосходящий другого поэта по таланту, может оказаться значительно ниже другого с точки зрения созданных им поэтических ценностей.

С моим мнением, вероятно, будут спорить, но всё же скажу, что именно таково, на мой взгляд, соотношение Асеева и Заболоцкого. Первый был намного талантливее, но поэзия второго будет жить намного дольше”.

В это время у Кожинова завязывается интереснейшая переписка с Борисом Чичибабиным, жившим в Харькове, прошедшим фронт и лагеря, принятым в Союз писателей по рекомендации Самуила Маршака, издавшим к началу 70-х три книги стихотворений и постепенно вытесненным с газетных и журнальных страниц. Он прислал Кожинову письмо (к сожалению, разыскать его не удалось), в котором высоко отзывался о книге “Как пишут стихи”. К письму были приложены стихи, преимущественно “гражданского” содержания – “антисталинское” “Клянусь на знамени весёлом” со строчками “Пока во лжи неукротимы / сидят холёные, как ханы, / антисемитские кретины / и государственные хамы” и с рефреном “Не умер Сталин”, “Пастернаку” (“Твой лоб, как у статуи, бел...”, “Махорка”, “Сними с меня усталость, мать Смерть...”, “Тебе, моя Русь, не Богу, не зверю” (с лихими строчками “А я тебя славить не буду вовеки, / под горло подступит – и то не смогу. / Мне кровь заливает морозные веки. / Я Пушкина вижу на жжёном снегу”) и другие. И через некоторое время получил содержательный ответ.

“11.2.72.

Дорогой Борис!

Не примите это обращение за пустую фамильярность – я, вопреки Вашему предположению, знаю Вас давно (знал Вас сначала как “Полушина” и даже упоминал Вас в статье о поэзии году в 60-м в журн. “Знамя”), лет пятнадцать, и с тех уже давних пор часто читаю наизусть Ваше “Кончусь, останусь жив ли...” А значит, как-то сроднился с Вами. Если я что-то понимаю в стихах – в этом и Ваша заслуга, так как только стихи (настоящие, конечно) **современников** могут помочь действительно проникнуть в мир поэзии.

Спасибо Вам за радость, принесенную Вашим письмом, – радость не от похвал (она поверхностна, и я ей дорожил только в юности), а от чувства, что твоя работа не совсем бесплодна, что она нужна – притом человеку, которого высоко уважаешь.

В стихах Ваших (в которых Вы открылись для меня заново и, в частности, как поэт очень многогранный) есть безусловная подлинность, самобытность и – что сейчас крайне редко бывает – **сила** (наигранной силы у нас хоть отбавляй, но та настоящая, которая есть у Вас, – уникальна).

Конкретно говорить о стихах в письме невозможно – или уж нужно писать целый трактат. Надеюсь, что мы сможем поговорить – Вы же бываете в Москве? Мой тел. 2916728, очень рад буду встретиться.

Проще сказать о “направленности”. Многое для меня спорно, – возможно, в силу различия поколений (мне 41). Из-за нескольких “внешних”, упрощенных идей некоторые Ваши стихи, на мой взгляд, риторичны.

Ну вот, скажем, стихи “Твой лоб, как у статуи, бел...”. Герой этого Вашего стихотворения в 1957 году отправил послание к “Друзьям на Востоке и на Западе” (у нас оно было опубликовано в газ. “Лит. Россия”, 1965, № 1; Вы его, наверно, не читали). Он говорил в нём: “Вот за что скажите спасибо нам. Наша революция задала тон и вам, наполнила смыслом и содержанием... Не мы, не наша молодёжь – даже сын вашего банкира уже совсем не то, чем были его отец и дед. И за этого нового человека, за... то, что он живее, тоньше и одареннее своих грузных высокопарных предшественников, скажите тоже спасибо нам” и т. д.

Мне кажется, что Вы недостаточно верно представляете себе суть Вашего героя. Вы видите его “обет” в том, что “не может быть злой человек хорошим поэтом”. Злым он не был (хотя это едва ли большое достоинство), но **холодным** – в значит. степени (несмотря на частые слёзы). А его друг (Маяковский. – **С. К.**), который вместе с ним на снимке и на которого Вы также “поминутно смотрите с любовью”, был, конечно, очень злым. Я не вижу никакой **принципиальной** разницы между ним и героем другого Вашего стихотворения – “Однако радоваться рано...”. Я бы даже сказал, что первый (т. е. М.) в известном смысле хуже. Прочтите, пожалуйста (Вы, как я понял, много читаете, и это не будет Вам в тягость), следующие страницы в т. 12 его последнего Полн. собр. сочинений: 302–304, 312–320, 328–331, 390–391 и (особенно!) 533. Очень интересно Ваше мнение об этих страницах “поэта”.

Конечно, всё это спорные вопросы. Но без их решения не обойдётсяя.

Вот Вы ещё – так, во всяком случае, я понимаю – вините “Русь” в гибели Пушкина. Мне кажется, что на вопрос, кто убил Пушкина, точно ответил Блок в своём завещании (см. т. 6 последнего изд. соч., стр. 166–167, со слов “Между тем жизнь Пушкина...”) – не бенкендорфы даже (которые мешали лишь в “третьем деле”), а те, кто отнимал творческий покой, творческую волю. Имя там одно названо.

Впрочем, всё это, повторяю, слишком спорно. Когда-нибудь обсудим. Во всяком случае, иные Ваши стихи со слишком “внешним” смыслом для меня звучат, как риторика. Другое дело – “Махорка”, “Во мне проснулось...”, “Так-сяк...” и др.

Ещё раз благодарность Вам от сердца.

Всего Вам самого доброго.

Стихи Ваши я уже читаю друзьям – как Вы хотели.

Пишите, пожалуйста.

Искренне Ваш
Вадим Кожинов”.

В ответ он получил от Чичибабина очередное письмо с приложением стихотворения, посвящённого памяти Твардовского, где, в частности, фигурировал обнимающий на том свете Твардовского Маршак. Ответ Кожинова был уже далеко не столь благодушен – в нём сквозили еле сдерживаемое негодование и печаль от, как он считал, непонимания поэтом многих крайне существенных вещей.

“Дорогой Борис!

То, что я собираюсь сейчас делать, – глупо и бессмысленно, заранее обречено на провал. Но не могу удержаться, так как мне, честное слово, больно оттого, что Вы, человек, как я понимаю, не зависящий от давления “группы”, “среды”, всё же – при всём уме, даровании, опыте – закабалены, подавлены дутыми авторитетами, дешёвыми идеалами.

Ну, что в самом деле стоит одно уже нежное упоминание Маршака – этого ничтожества, этого графомана, который всю жизнь служил верой и правдой (притом служил особенно умело, даже подчас незаметно) тому именно, что Вы всей кровью ненавидите, тому, что Вас топтало и корёжило?

Я опять вспоминаю, что взялся за нелепое дело, что Вы не можете под пятьдесят лет вытравливать из себя те свойства, которые я с величайшим трудом вытравил из себя между 30 и 35 годами (т. е. 1960–1965) – не можете, даже если бы и захотели.

А ведь вопрос тут, собственно, чисто теоретический. В сфере культуры то, что находится ниже среднего уровня (и даже на среднем) – в принципе вообще не существует. Ваши прямые враги (ну, скажем, те, кого Вы в одном стихотворении назвали “кретинами” и “хаммами”) вообще не существуют как явление культуры. С ними не о чем спорить (на почве культуры). Те, кто находится под их “духовным” влиянием (те “поэты”, скажем), такое уж мизерное явление, что о них и жалеть не приходится. Даже хорошо по-своему, что они, эти “поэты”, сидят в этой дыре и не срамят своим бумагомаранием какие-либо более “высокие” сферы. Спорить с ними поэтически – значит унижать себя (и Вы, кстати, этим грешите). Спорить можно только лишь на определённом уровне. Но как только Вы встречаетесь с явлением более или менее высокого уровня – Вы восхищаетесь, даже падаете ниц. Так Вы чуть ли не как перед Богом преклоняетесь перед поэтом – разумеется, поэтом замечательным, многие строки которого я содрогу в голосе твержу наизусть, – но поэтом, главными вещами которого по своему смыслу никак не заслуживают преклонения, ибо первая изобразила небывалую в истории народную трагедию – трагедию, которая, возможно, вообще уничтожила самые **гены** нации, – чуть ли не как идиллию, а вторая показала другую трагедию чуть ли не как водевиль.

Я не случайно сослался в прошлом письме на завещание Блока. Вы пишете, что не принимаете Блока. Что ж, это был, без сомнения, первый по времени великий **профессиональный** поэт (первый русский), что наложило на него особую, иногда очень неприятную печать. Он, в частности, напечатал едва ли не больше стихотворений, чем все великие русские поэты до него, вместе взятые. Я не могу читать его ранние стихи – совершенно холодные и выдуманные. Но примерно в 1905–1906 его нечто пронзило, и есть у него 50–70 великих вещей. Думаю, что я мог бы составить его книгу, которую приняли бы все, включая Вас. Но это так, к слову.

Говорю об его завещании, о “тайной свободе”, о “творческой воле”. Вот Вы разделяете “подлинное, глубокое, вечное” и “мнимое, внешнее, временное”. Но для того чтобы действительно отделить эти вещи, необходима именно эта высшая свобода. Для освобождения от мнений “кретинов” и “хамов” её не требуется, – хотя и были годы (я, как и Вы, хлебнул их, – правда, поменьше), когда и это было трудновато.

Опять и опять я чувствую тщету своих слов. Но горько и больно читать у настоящего поэта строку о Маршаке (Вы можете сказать – вот, мол, привязался к одному имени! Но это просто “лакмусовая бумажка”), ожидающем друга на небеси со словами о рождестве (слава Богу, ещё хоть с маленькой буквы – так у Вас). Хорошо ещё, что не упомянуты Чуковский, Светлов, Эренбург (кто там ещё?) и – авансом – Ираклий Андронников, – словом, все либеральные светочи.

Если же Вы всерьёз говорите, что и тот, и другой “тоже Россия” и “сколько русских, столько Россией” – то почему же Вы изгоняете “хамов” и “кретинов”? И почему вам новые “джамбулы” не по душе? Это нелогично.

Ещё и ещё раз повторю: я умею ценить всё ценное у **кого угодно**. Но не надо видеть **идеалы** общественного поведения и нравственной позиции там, где ими и не пахнет.

Да и логика действительно верная вещь. Вот Вы пишете, что Блок и Есенин имели иллюзии, близкие к иллюзиям героя Вашего стихотворения, и “не нам их судить”. Но одно дело – иллюзии до 1925-го и тем более 1921-го, а другое – до 1957-го. Как Вы это упустили?

Или ещё: герой, которого ожидает Маршак, по Вашей мысли, чуть ли не ходил над пропастью. С чего Вы взяли? Никогда ему не угрожало ничто, кроме лишения какого-либо нагрудного знака (точнее, даже просто понижения его – знака – “стоимости”). Вы сами по сравнению с ним – герой. Зачем же расстилаться?

Но я заболтался. Простите, если огорчил Вас или обидел. В последнем случае можете обидеть меня молчанием.

Всего Вам доброго, от души.

В.”.

Можно, конечно, не согласиться с предельно резкой кожиновской оценкой “Страны Муравии” и “Василия Тёркина”, но в контексте этого эпистолярного разговора его слова были, безусловно, оправданы.

Чичибабин, судя по всему, был категорически не согласен с Вадимом Валериановичем и, кроме того, крайне обижен. Он так и не смог освободиться от комплекса “либеральничания”, который с годами всё усиливался. Отчего его стихи становились всё декларативнее, всё хуже и всё безграмотнее с точки зрения истории, в которую пытался бестрепетно вторгаться. Последнее упоминание имени поэта Кожинным встречается уже в 1990-е, в работе “Пути русского исторического самосознания”.

“...Необходимо хотя бы кратко высказать своё отношение к тому отвержению допетровской русской культуры (вплоть до закрытия почти 80 процентов монастырей!), которое совершилось в XVIII веке. Сегодня едва ли не большинство из тех, кто касается данной темы, оценивает это отвержение всецело “негативно”. Причём речь идёт вовсе не только об авторах, как говорится, “охранительно-славянофильского” умонастроения; так, например, в книге модного ныне стихотворца заострённо либерального толка Б. Чичибабина на Петра Великого обрушены безоговорочные проклятия:

*Будь проклят, ратник сатаны,
Смотритель каменной мертвецкой,
Кто от нелепицы стрелецкой
Натряс в немецкие штаны.
Будь проклят, нравственный урод,
Ревнитель дел, громада плоти!..
Будь проклят тот, кто проклял Русь —
Сию морозную Элладу!*

И как единственное утешение:

*А Русь ушла с лица земли,
В тайнохранительные срубы...*

Может показаться, что эта “позиция” имеет своё существенное обоснование и оправдание, ибо ведь в эпоху Петра было немало людей, воспринимавших императора как Антихриста, а само его время как в прямом смысле слова апокалиптическое. И автор, кстати сказать, смягчает реальное историческое противостояние, говоря о “нелепице” стрелецкой: ведь буйные стрелецкие, казацкие и раскольничьи бунты при Петре продолжались в течение нескольких десятилетий.

Однако у людей, чьи жизненные устои рушила эпоха Петра, было действительное и несомненное право начисто отрицать её: трагедия стрельцов, рельефно воссозданная в суриковском полотне, — это подлинная трагедия. А в трагедии, как убедительно доказывал Гегель, правы обе борющиеся не на жизнь, а на смерть стороны. Между тем историческая оценка Петровской эпохи дана, думается, навсегда самим Пушкиным, который не упускал из виду фигуру Петра на протяжении всего своего творческого пути...

И нынешнее проклятье по адресу Петра, если оно честно и последовательно, должно сопровождаться отрицанием одной из незыблемых основ пушкинского исторического мышления, которое, между прочим, являет высший образец объективности, “утверждение” и “отрицание” Петра здесь гениально уравновешены. Это подлинное осознание смысла эпохи, а не её “критика” во имя тех или иных “идеалов” — нравственных, политических, социальных и т. п. (о засилье подобной “критики” и в историографии, и в, так сказать, бытовых представлениях о русской истории ещё пойдёт речь). Этого рода “критика” нередко закономерно сочетается со столь же поверхностной идеализацией других исторических явлений. То есть на основе поверхностного, легковесного отношения к истории одно в ней подвергается бездумной хуле, а другое — столь же бездумной хвале. Так, например, тот же Б. Чичибабин, начисто презрев глубокое пушкинское осмысление фигуры Петра, вместе с тем в 1988 году безо всяких оснований “привлёл” Пушкина к своему легковесному воспеванию другого исторического деятеля:

*В наши сны деревенские и городские
Пробираются мраки со дна —*

*Только Пушкин один да один у России,
Как Россия на свете одна.
А ведь разумом Пушкин-то с Лениным сходен,
Словно свет их один породил,
И чем больше мы связи меж ними находим,
Тем светлее заря впереди.*

Такая стихотворная “историософия” (я говорю о стихах и о Петре, и о Пушкине с Лениным), да ещё в сочинениях автора, увенчанного в 1990 году высшей премией, способна внести прискорбнейшую сумятицу в сознание людей...

* * *

А в 1970 году произошла поистине судьбоносная встреча в жизни Кожинова. На пороге его дома появился молодой красавец с Кубани, с которым Вадима Валериановича связала неразрывная нить на протяжении последующих 15 лет.

Вот как он сам вспоминал об этой встрече:

“Как-то вечером мы с поэтом Владимиром Соколовым сидели за долгой беседой в моём доме за Арбатом, в Старой Конюшенной. Теперь уже такие беседы не в моде... Зазвонил телефон. Незнакомый певучий голос (кубанцы, по всей вероятности, не очень уж замечают напевный лад своей речи, а я сразу узнаю человека с Кубани по интонации) заговорил о моих книгах и статьях, о надежде на встречу.

Был в словах Юрия Селезнёва некий высокий порыв, который побудил меня пригласить его зайти ко мне тут же. И вскоре появился настоящий добрый молодец в своём тридцатилетнем расцвете. В его лице и даже в самом его стане ясно выражались негибкая душевная крепость и чистота.

Поначалу Юрий смущался, даже краснел, как юноша, но быстро удалось ввести его в тот характерный русский разговор – внешне хаотичный, неожиданно перескакивающий с одного на другое, – который всё же захватывает вдруг самое важное и глубокое. Стало очевидно, что Юрий Селезнёв жаждет большого, настоящего дела на ниве культуры – дела, для которого тогда, полтора с лишним десятилетия назад, в его родном крае не было необходимых условий (сейчас положение уже явно изменяется в лучшую сторону).

Он рассказал, что работает преподавателем русского языка (для иностранных студентов) в Кубанском сельскохозяйственном институте, изредка печатает не очень увлекающее его рецензии в местной печати, думает над сочинением о творчестве Достоевского.

Юрий говорил, что не был до сих пор знаком ни с одним московским литератором, и его друзья, в доме которых на улице Удальцова он остановился, сообщили ему, что в соседней квартире живёт известный критик Лев Аннинский. Юрий решил зайти к нему, но после краткого разговора Аннинский посоветовал обратиться к Вадиму Кожинову, который, как он заметил, больше (чем сам Аннинский) интересуется молодыми литераторами из провинции...

В течение своего тогдашнего пребывания в Москве Юрий приходил ко мне несколько раз, и мы успели достаточно близко познакомиться. Разговоры наши были посвящены и самым широким общим проблемам, и личной судьбе моего гостя. Мы сошлись на том, что ему следует поступить в аспирантуру, и он спросил у меня согласия быть его руководителем. Я обещал, но должен был признаться, что совершенно не знаю тех задач и формальностей, которые встают перед человеком, стремящимся поступить в аспирантуру, особенно не в родном городе. И посоветовал для начала выяснить все подробности”.

Тогда же, в конце 1970 года он получил от Юрия Селезнёва первое письмо:

“Теша себя надеждой, что Вы ещё не забыли меня и что всё то, о чём мы говорили, не миф, а в какой-то мере реальность, я решил написать Вам о том, что удалось мне сделать, чтобы получить официальную возможность работать с Вами...”

Есть много трудностей, в том числе и такая: работаю я на филологическом факультете, но в сельскохозяйственном институте... Такой факультет

в подобном заведении редкость, и смотрят на нас, как на чужеродное тело. Захочет ли министерство с/хозяйства просить о предоставлении мне аспирантуры — другое, совершенно не родственное ему министерство, ещё неизвестно, — не получится ли, как у Райкина: "...пианино?! А зачем вам на овощной базе пианино?". Но сейчас и это для меня главная забота...

Наше знакомство было настолько кратковременным, что я не имею права надеяться на то, что Вы примете участие в моей судьбе (я уже не говорю о Вашей занятости и пр., и пр.). И если я пишу Вам всё это, так только по той причине, что поверил в Вас как в единственную возможность для себя работать по-настоящему с настоящим учёным. Что Вы — тот единственный человек, который мне нужен, я глубоко убеждён; к несчастью (я это прекрасно понимаю), Вы не можете быть убеждены в том, что я — один из тех, кто нужен Вам.

Если Вы ответите "нет" (я приму это как должное, я пойму Вас), тогда мне придётся надолго распрощаться со своими "наполеоновскими" идеями, смиренно взяться за какую-нибудь (не всё ли равно, какую) тему в нашем университете, т. к. работать по Достоевскому здесь наотрез отказались, а мечту о Фёдоре Михайловиче отложить на неопределённо долгий срок.

Но, честное слово, — уж лучше клясться в любви женщине, к которой ты совершенно равнодушен, и "беситься по другой", чем это.

Если же Вы снова великодушно скажете "да", — клянусь, я сделаю всё, чтобы Вы никогда не пожалели об этом. Я заранее согласен на все Ваши условия и требования".

Кожинов ответил благожелательным и строгим письмом (к сожалению, текст его неизвестен, архив Селезнёва для нас пока недоступен). И Селезнёв отправил ему новое послание:

"Вы меня обрадовали и растрогали Вашим письмом. Спасибо, что приняли тон моего письма за искренность, а не за наглость, чего я боялся. Я очень жалею, что письмо получилось плаксивым, — не примите, пожалуйста, это за желание "разжалобить" Вас. Я далёк от этого. И, конечно же, у меня никогда не возникало "подозрений", что Ваша жизнь — "спокойная река" и "всё достаётся Вам даром". Поверьте, я понимаю, чего Вам стоит жизнь, и именно за это люблю Вас. Что же касается моей лени и безынициативности, то должен с глубоким прискорбием признаться: Вы более чем правы. Но корни — не в апатии и не в трусости, хотя есть боязнь — не проявиться. Всё — или ничего, только не быть посредственностью. А хватит ли сил на "всё"? Иногда кажется, что хватит...

Вы пишете, что мне нужно приложить максимум усилий и что это нужно делать сейчас. Я готов приложить 2 и 10 максимумов (честное слово, это мне по силам), — но в каком направлении? Что я должен сделать? Я готов, хочу, могу и сделаю всё, что возможно и невозможно, чтобы "быть, а не слыть", но, ради бога, не смейтесь, — мне нужен для начала движения — первый толчок, который, как известно, по силам только богу-творцу. Будьте моим богом, дайте мне движение...

Вы справедливо пишете, что я и не пытался серьёзно попасть в печать. Это так. И причины — смешны. Местная печать мне осточертела. От наших "метров" зависит местная литература, и писать о них "плохо" — непозволительно, а "хорошо" — невозможно. Книги из центра же доходят нескоро. Часто сначала читаешь рецензию, а потом уже книгу. Конечно, если говорить по большому счёту, всё это мелочи, но "большой счёт" как раз и вызывает ту боязнь, о которой я уже писал. Что значит написать, например, о "моём понимании" Достоевского, скажем? Это, конечно, из той области, которую я называю "Всё". Но кому интересно мнение какого-то Селезнёва, когда журналы завалены материалами?... Вот и получается: "всё своё ношу в себе". А с этим пора кончать. И Вы себе представить не можете, как дороги мне были Ваши слова в письме, как благотворно они подействовали на меня".

"Мы в дальнейшем "перепробовали" несколько вариантов аспирантуры — в разных научных и учебных институтах, — вспоминал Кожинов. — В конце концов Юрий Селезнёв поступил в аспирантуру Московского литературного института, чему помогли мои давние знакомые — в Краснодаре Иван Варавва, а в Москве — тогдашний проректор Литературного института Александр Михайлов.

Когда мы обменивались первыми нашими письмами, погиб Николай Рубцов. Не секрет, что его поэзия по-настоящему была оценена в Москве раньше, чем где-либо на периферии. И Юрий Селезнёв не был здесь исключением: лишь после того развития, которое он получил в Москве, он смог понять творческий подвиг Рубцова и написал о нём яркие страницы.

Он слышал, как я говорил о поэзии Рубцова, как читал и пел под гитарные аккорды его стихи. И всё же, рискуя раздражить меня, Юрий писал мне вскоре после гибели поэта: “Я могу ещё понять Вашу симпатию... даже к Н. Рубцову: стихи его не идут в сравнение с песнями, которые Вы исполняете, — в песнях больше, чем в стихах, в них стихи и ещё и Вы (но это другой вопрос)”.

Не могу точно вспомнить, что я ему ответил, но во всяком случае ответил весьма резко. И тем не менее Юрий продолжал и позже спорить со мной, — до тех пор, пока сам, в своей собственной духовной глубине не проникся пониманием высокой подлинности рубцовского стиха”.

Спор с Кожинным шёл у Юрия не только о Рубцове. Так, он поначалу не принял кожининского “разделения” поэзии и стихотворной беллетристики.

“И Евтушенко, и Вознесенский, — писал он Кожинному, — безусловно, поэты, и поэты большие, хотя и не великие (и не просто беллетристы). И стихи их нужно рассматривать именно с точки зрения поэзии. А дело, как мне кажется, здесь в другом. Есть поэзия культуры и поэзия цивилизации. И хотя и то, и другое — поэзия, качественно они разные. Последним великим русским поэтом культуры был Блок. Первым великим поэтом цивилизации — Маяковский. Часто спорят, кто, например (беру школьный пример), “лучше” — Маяковский или Д. Бедный. По-моему, Маяковский несравненно выше Бедного как поэт цивилизации. По отношению же к культуре они равны — ни тот, ни другой не имеют к ней отношения. Они вне её. Конечно, это грубо, полемически, всё здесь гораздо тоньше, но так нагляднее. Ведь я не знаю, насколько Вы понимаете, о чём я говорю. Философию культуры и цивилизации разрабатывали многие. Наиболее известен О. Шпенглер. Моя точка зрения к его философии не имеет, кроме терминологии, никакого отношения, а скорее исходит из понимания этой проблемы Ауробиндо Гхоша. Так вот, для меня Евтушенко и Вознесенский большие поэты, но поэты цивилизации, а В. Соколов — поэт небольшой, но поэт культуры. И здесь “большие” и “небольшой” — несравнимы, ибо лежат в разных плоскостях, в разных системах измерения”.

...Пройдёт время, и Селезнёв, за какой-то кратчайший срок неизмеримо выросший духовно, пересмотрит многое в своих прежних воззрениях и напишет об этих двух “больших поэтах” так, как они того заслуживали. А пока он отвечал Кожинному на упреки в незнании отечественной национальной мысли.

“Я совершенно согласен с Вами о необходимости знать нашу национальную мысль. Мы (и я тоже) знаем её плохо. Но в этом не только наша вина. Ибо “нет пророка в своём отечестве”. Не знаю, насколько это случайно, но все названные Вами мыслители (Кожиннов, очевидно, напминал Селезнёву о славянофилах, о Константине Леонтьеве, о Николае Фёдорове. — **С. К.**) так или иначе соприкасались в своих учениях с идеями оккультизма (у нас они числятся по “департаменту” мистики, что не одно и то же). Оккультные же воззрения восходят к древней Индии и Египту, куда были занесены нашими общими предками арийцами, и являются наиболее древнейшими из всех философских систем. Развёрнутую, “истолкованную” и значительно искажённую форму они нашли в индийской философии, через которую мыслители разных стран пытались проникнуть в древнее знание, расшифровать его. Не прошли мимо и названные Вами. Отсюда моя тяга к древнеиндийской философии — не самой по себе, а как возможной первофилософии, — для того чтобы осмыслить её, вольные или невольные, интерпретации уже на чисто русской почве. Часто духовные поиски Достоевского, Л. Толстого и др. пытаются осмыслить в чисто религиозной плоскости (да и то узко христианско-православной) — отсюда и нелепейшие и противоречивые выводы то о их религиозности, то о неприятии ортодоксальных догматов и т. д., и т. п., — тогда как поиски и этих мыслителей, и тех, кого Вы упоминаете, шли не в чисто религиозном (в официальном понимании этого слова), а в оккультном плане”.

Селезнёв много читал и читал в то время преимущественно бессистемно и беспорядочно, увлекаясь “таинствами” оккультизма, которые в это время начинали получать большое распространение в родных палестинах, соблазняя и увлекая многих людей. Анатолий Ланщиков, глядя на это поветрие, говорил,

что всё это напоминает ему Рим времён упадка... Опять же — пройдёт несколько лет, и выросший духовно тонкий и фундаментальный исследователь жизни и творчества Достоевского раз и навсегда избавится от этих оккультных соблазнов (впрочем, на смену им будут приходиться другие; так, в частности, он до конца своих дней будет убеждён в абсолютной подлинности “Влесовой книги”, чего совершенно не принимал Кожин). Их диалог, подчас весьма драматический и напряжённый, продлится все эти полтора десятилетия и, как напишет потом Кожин, “вообще спор — то есть острый, напряжённый диалог — был главной формой нашего общения с Юрием Селезнёвым с первой и до последней встречи”. И этот спор будет чрезвычайно плодотворным для них обоих.

* * *

Кожин буквально жил в стихии диалога. Стиль его диалогического общения красочно описал Лев Аннинский, излагая историю публикации из беседы под названием “Мода на простонародность”.

“...Я никогда не “собирался” (то есть не хотел) “спорить” с Вадимом, но получалось это именно что “само собой” и никогда не выглядело противостоянием...”

Главное же и истинное обогащение давали мне диалоги с ним для печати. О, я многому у него научился.

Первый такой диалог нам было предложено написать для какого-то теоретического сборника в издательстве “Искусство” в 1970 году. Тему мы назвали соответственно моменту: “Мода на простонародность”. Естественно, “мода” была словом-прикрытием, и таким же прикрытием было слово “просто”, приклеенное к “народности”. В сущности-то речь шла о почве, о народе, о традициях.

Смягчающие словечки не обманули редактора издательства, и он вернул нам текст диалога, выразительно пожав плечами.

Текст-то не пропал — мне его удалось пристроить в кишинёвский журнал “Кодры”, где он благополучно и появился в 1971 году, после чего ухнул в библиографическую Лету.

Для меня этот диалог значил многое. Не в плане идей (идеи продолжали зреть и обкатываться своим чередом), а в плане техники спора. Я рассчитывал, исходя из моего прошлого опыта, что мой застрельный монолог будет неоднократно прерван, и готовился к “ближнему бою”, но Вадим дал мне выговориться, ни словом не прервав, а потом спокойно выстроил параллельную систему ценностей, которую я вынужден был созерцать так же невозмутимо, как он мою, ибо кидаться спорить по частностям в той ситуации было глупо.

Между прочим, кардинальной идеей Вадима в том диалоге была сакрализация материального в русской культуре, и в частности, — мысль о духовной значимости процесса... еды. Я думаю, именно этот аспект привёл в замешательство редактора издательства “Искусство”. Мне же при чтении дифирамбов питию и закуске вспомнилась деревня Тряпкина, звон стаканов, яростный шёпот: “Я такой же капризуля, как ты” (Аннинский вспоминал, как Кожин и Соколов отнимали друг у друга бутылку с водкой. — С. К.) — и весёлые глаза Вадима”.

Этот диалог — “Мода на простонародность” — был как раз ко времени. После “революционных 60-х” пошёл своеобразный “откат назад”, о котором иронично и едко писал Олег Михайлов:

“...И пошла мода на старину. Владелец кооперативной квартиры спешит совлечь со стены круглобородого Хемингуэя, дабы немедля заменить его на тёмный лик неизвестного ему русского старца, выписанный на древних досках. Шайки молодых, но, увы, уже предприимчивых смышлёных коммерсантов шарят по глухим вологодским, костромским, архангельским и иным углам, выискивая утварь, книги, образа. Музыкальные фабрики-кухни выбрасывают в “общепит” массовые ритмические поделки, где по-печенежски свирепо не щадится никто в истории нашей, вплоть до Ярославны, которой будто бы “в час разлуки” князь Игорь исполнил залихватски-весёлое “шоу”:

*Хмуриться не надо, лада!
Хмуриться не надо, лада!
Для меня твой смех — награда!
Лада!*

“Пошло то, что пошло”, – скаламбурил некогда русский публицист. Сегодня пошла старина. Однако подобный грубый маскарад, все эти дешёвые коммерческие “ладушки”, понятно, ничего общего не имеют с подлинным чувством любви к своему отечеству”.

Аннинский, критик весьма чуткий к животрепещущим проблемам литературы и жизни, в большей степени предлагал материал для размышлений и анализа, сам от него виртуозно уклоняясь. Он сам себя любил сравнивать известным боксёром 60-х Виктором Агеевым, мастером защиты, выигрывавшим бои, практически не нанося ударов... В этом диалоге он предъявил все признаки наступившей моды: “Рискну указать момент, когда произошёл, с моей точки зрения, качественный скачок. Это 1965 год... Не знаю даже, что тогда произошло... Может, вышла пластинка с записью ростовских звонов, может быть, номер журнала “Молодая гвардия” с письмом трёх крупнейших художников “Берегите святыню нашу!” или то была сенсация недели: русские сапожки в Париже? Не знаю... Один влюблён в куртузанку резьбу восемнадцатого века, другой ставит посреди комнаты дубовый стол, вокруг которого когда-то садилась целая крестьянская семья. Старина и прочность... О современной охоте за прялками и старокрестьянской одеждой я уже и не говорю. О современных паломничествах к памятникам национальной культуры тоже... Теперь модны старые словечки, выуженные от прабабок... Полистайте журнал “Русская речь” или старую “Молодую гвардию”. Из номера в номер – статьи об очистке русского языка... Собственно, языковая программа “Молодой гвардии” не нова: слегка адаптированный Шишков... Возьмём ещё одну пробу. В живописи... Здесь мода – это внешнее влияние старой фрески и старой иконы... Глазунов, вездесущий и всегда чуткий к моде Илья Глазунов, который потом, позднее, начнёт тиражировать иконописные глаза, – вспомним, с чего он начинал в пятидесятые годы. С красного треугольника майки на синем локале неба: Фучик перед казнью...”

Далее Аннинский произнёс длинный монолог о “смене моды” в литературе: “Ушла поэзия с авансцены. В наступившей тишине внимание читающей публики стало медленно и неслышно откатываться от невоевавших – к воевавшим, от буйных и ломких мечтателей – к немногословным людям тяжкого фронтового опыта, так сказать, от Вознесенского к Межирову. Постепенно набрала силу деревенская тема в лирике: Тряпкин, Рубцов, Передреев... Проступила в поэзии тяга к устойчивости, к традиционности, к прочности... Рубцов был прекрасный поэт, у него – выстрадано. Но из таких стихов сегодня куются стереотипы... Тишина разливается в поэзии... Это стихи от себя к себе. От меня к тебе. Но – не ко всем!... В центре литературного процесса оказались Белов и Шукшин. И Солоухин. На смену трезвому хозяйственнику пришёл деревенский мечтатель, лукавый мужичонка-балагур, чудак, мудрец, древний деревенский дед, хранитель столетних традиций... Эта духовная жажда как бы растекается по вещам и привычкам. И становится модой. Она профанируется. Но она и свидетельствует...”

Кожинов тут же внёс уточнения в определённую “путаницу” Аннинского: “Не надо, в частности, путать тех, кто гонится за модой, потребляет её, и тех, кто становится её жертвой. Во-первых, могут приобрести модность произведения искусства, созданные десятки, сотни и даже тысячи лет назад, о чём их творцы, естественно, и не подозревали. Во-вторых, есть художники, действительно, увлечённые модой, и другие, специально работающие под моду, то есть халтурящие ради успеха. Наконец, производитель моды всегда неизмеримо сознательнее её потребителей... Тема нашего диалога – потребитель, а не производитель...”

И Кожинов детально остановился на ошибочных допущениях Аннинского. “Естественно, встаёт вопрос о том, какова же должная, адекватная форма духовных исканий. Вы указываете на два её признака. С одной стороны, духовные искания должны совершаться в собственно духовной форме, то есть в самом сознании, в “душе”, ибо “там, где духовное сознание соприкасается с миром вещей, там возникают импульсы моды”. С другой стороны, духовные искания должны быть сугубо личностными.

Но оба эти ответа, по-моему, неверны... Чисто иллюзорно – хотя и заманчиво – представление о том, что возможны “невещественные”, совершающиеся в самом сознании как таковом, духовные поиски... Столь же иллюзорно ваше убеждение, будто возможны чисто личностные духовные искания...

Нельзя противопоставлять материальное выражение духовных исканий некоему – в принципе невозможному – собственно духовному началу, и, с другой стороны, “общие” искания – чисто личностным, столь же немислимимым реально... Определение моды как материального выражения массовых духовных исканий несостоятельно... Все люди приобщаются к духовной жизни в материальной форме...

Вы делите людей на тех, кто находится во власти моды, и на тех, кто поднят над ней и воспринимает не только материальное выражение духовной жизни, но и её самоё... Но ведь на Земле есть ещё сотни миллионов людей, которые никак не приобщились к моде, живут вне её. Что ж, эти люди вообще не имеют отношения к духовной жизни современности?.. Мода – не просто форма современной духовной жизни, но некая особая, специфическая форма, имеющая, очевидно, своё особенное содержание. Она выражает не духовную жизнь вообще, но некую её сферу, область, сторону...

Мода выражает только одну сторону жизни людей... Она имеет, прежде всего, игровой, развлекательный, “лёгкий” характер... Одежда, еда и т. д. могут обладать глубочайшим смыслом, а искусство и философия, даже претендующие на серьёзность, могут быть лишены этого смысла...

Мода есть не что иное, как постоянно изменяющаяся форма этой игровой жизни – жизни – безусловно необходимой людям в часы отдыха от напряжённой работы, рук, ума, воли, чувств. А раз необходима игровая жизнь – необходима и мода, оформляющая, организующая, объединяющая эту жизнь... Человека вообще нельзя определять по его отношению к моде...”

Перейдя к литературе, Кожин обратил к XIX веку: “Ведь в своё время и пушкинское лицо заслоняли игровые маски Бенедиктова, Марлинского, Кукольника”, – и указал на существенные методологические ошибки своего оппонента:

“Вы видите в сегодняшней моде на простонародность реакцию на некую всеобщую, поразившую всё наше бытие рассудочность, интеллектуализм, космизм, безличие... По-моему, вы смешиваете при этом относительно самостоятельное развитие моды и цельное движение жизни. Новая мода есть, прежде всего, реакция на прежнюю моду, а не на жизнь в целом, реакция на предшествующее модное искусство, а не искусство в его коренном и в то же время вершинном воплощении... Реакция в виде “простонародности” была направлена именно против предшествующей моды, а не против большого зрелого искусства предыдущих лет, искусства Пришвина и Корина...”

Никак не могу согласиться с вашим сближением или даже отождествлением моды и традиции... Традиция – это память. И общественная жизнь вся основана на памяти... Между тем мода с известной точки зрения основана как раз на беспамятности. Она стремится забыть всё, что было до неё, она с презрением отвергает предшествующее... Обращение к традиции не есть “обратное движение в сторону пещерных времён” (как заявил Аннинский. – **С. К.**). Дело обстоит прямо противоположным образом, ибо именно отказ от традиции, растворение в моде неизбежно возвращает к пещерным нравам...

Я вполне солидарен с главной вашей идеей – идеей необходимости высшего и полного самосознания личности. Разногласия между нами начинаются там, где вы... настаиваете на каком-то одностороннем, замкнутом самосознании личности, довольствующей себе, в то время как я вижу насущную потребность в народном самосознании, которым должен проникнуться каждый человек. Всё многообразии тысячелетнего опыта – от той же национальной еды до философских идей – должно стать единой, цельной основой образа жизни и поведения личности. Всё это как-то живёт в людях уже сегодня. Важно, чтобы всё это было осознано, стало не подспудным течением, а именно самосознанием”.

Что касается речи Кожина о “духовной значимости процесса еды”, над которой поиронизировал Аннинский в позднейших мемуарах, то здесь Вадим Валерианович перешёл грань так называемой “цензурности” (учитывая те времена) и подробно расписал (это была своего рода мини-поэма в прозе!), как именно в еде (до этого моды на “русские блюда” живописал Аннинский) свершалось “наиболее глубокое и полное приобщение человека к природе, её плодам и в то же время к плодам человеческого труда...” Что именно еда “испокон веков была настоящим священнодействием и обрядом. Она начиналась и заканчивалась благодарственной молитвой, обращённой к верховным силам

природы, персонифицированным в виде божества... Насыщение как таковое словно отступало на задний план: еда была исполнением, совершением необходимого в данный момент обряда», связанного со сменой времён года, и «вся была проникнута богатым духовным смыслом».

Заключительный «аккорд» этой «мини-симфонии» нигде бы тогда не мог быть обнародован, кроме как действительно в глухом провинциальном журнальчике, который однажды всё-таки попал на глаза «на заставах команду имеющим»:

«Однако в XX веке, в условиях беспрецедентного исторического перелома — технического, социального, политического — разрушается и эта «система» еды. Разрушается сознательно, ибо многие убеждены, что всё прошлое, всё традиционное подлежит безусловному уничтожению».

Он умел, как говорили раньше, «сказать всё и не попасть в Бастилию». Каким образом? Точнее всех об этом сказал однажды на «Кожиновских чтениях» в Армавире Леонид Иванович Бородин: «Когда человек напуган, а потом через испуг что-то проговаривает, тут его, наверное, сразу и секут, потому что страх в строках ощущается. А когда это рождается совершенно органически, практически машинально, оно и проходит, оно и проскакивает». У Кожина «это» рождалось «совершенно органически». И ни тени страха за сказанное или написанное он не испытывал никогда.

... Разговор о моде Кожинов тогда же продолжил в работе «История литературы или история литературной моды?», написанной для журнала «Вопросы литературы» и целиком посвящённой знаменитому ОПОЯЗу. Актуальность этой статьи (учитывая, что буквально двумя годами ранее были переизданы книги Юрия Тынянова «Пушкин и его современники» и Бориса Эйхенбаума «О поэзии» и «О прозе») была очевидна для всей редколлегии. Но когда её члены стали знакомиться с этим сочинением, у многих, кажется, глаза полезли на затылок.

«Анализ историко-литературной концепции ОПОЯЗа как таковой особо важен и актуален теперь, после переиздания основных опоязовских историко-литературных работ, привлёкших внимание научной и читательской общечеловечности», — подчёркивал Кожинов.

И далее он «прошёл» по основным, «столбовым» концепциям ОПОЯЗа.

«... Во многих опоязовских работах «содержание» недвусмысленно выведено за пределы литературы как таковой, как искусства. Разумеется, опоязовцы никогда не отрицали, что в любом литературном произведении есть, скажем, тема и идея: это было бы просто нелепо. Но они утверждали, что тема и идея — это *внехудожественные* элементы произведения, что они представляют собой лишь «мотивировки», на основе которых строится уже собственно художественная «конструкция»...»

Ставя перед собой задачу преодолеть дуализм содержания и формы, опоязовцы, в частности, стремились вообще отказаться от этих понятий (хотя так и не смогли совсем их игнорировать) и произвести «разрез» произведения в совершенно иной плоскости — не вертикальной (форма, «под» которой находится содержание), а, так сказать, горизонтальной. Они ввели понятие «материал», которое обозначало в конечном счёте то «сырьё», из которого создаётся произведение, — причём как «содержательное» (темы, мотивы), так и «формальное» (слова, звуки) сырьё, — и, с другой стороны, понятие «приём», означавшее элемент готовой художественной «конструкции», включавшей в себя опять-таки и содержательную, и формальную стороны (ср. суждение Ю. Тынянова о «параллелистичности» тютчевской поэзии)...

Кожинов обратился к книге Павла Медведева «Формальный метод в литературоведении» (о том, что эта книга на самом деле написана Бахтиным, Кожинову говорили ещё в начале 60-х и Наум Берковский, и Виктор Виноградов). «В этой книге было, в частности, показано, что опоязовская концепция теснейшим образом переплетена с художественной практикой так называемых «левых» течений в литературе и искусстве своего времени... Понятия «новизны» и «современности» — это вообще *исходные, корневые* для опоязовской истории литературы понятия».

Разобрав основные положения статей Тынянова «Литературный факт» и «О литературной эволюции», Кожинов перешёл к самому главному:

«Опоязовцы занимались, прежде всего, изучением истории *литературной моды*, которая неразрывно связана с проблемой читательского восприятия...»

Опоязовцы не отдавали себе ясного отчёта в том, что они, по сути дела, исследуют историю литературной моды. Но Б. Эйхенбаум... невольно выразил это, ибо непосредственно связал ключевое для ОПОЯЗа понятие об “автоматизации” поэзии (“уже застывший в своей неподвижности канон”) и понятие о “моде”. Здесь имелась в виду, конечно, не мода в период её становления, а мода, ставшая всеобщим явлением (ведь речь идёт о “властителе чувств целого поколения”) и потому уже потерявшая свою “гипнотическую силу”, переставшая “ощущаться”. ОПОЯЗ формировался в эпоху, когда феномен литературной моды достиг своего рода апогея. Беспеременно сменявшие друг друга в читательском внимании литературные школы и шkolки создали ту специфическую атмосферу, о которой рассказывает герой известного блоковского очерка “Русские дэнди” (1918): “Мы знаем всех наизусть – Сологуба, Бальмонта, Игоря Северянина, Маяковского, но всё это уже пресно; всё это кончено; теперь, кажется, будет мода на Эренбурга”.

Именно это и заставило опоязовцев, так тесно связанных с современной литературой, обратиться к изучению истории литературной моды прежде всего. Они, повторяю, не употребляли этого термина, но самая суть дела недвусмысленно раскрывается в следующем суждении Ю. Тынянова: “Мы, как и всякие современники, проводим знак равенства между “новым” и “хорошим”. Именно так! Ведь ясно, например, что самый дешёвый, но модный костюм “лучше” самого дорогого, но явно вышедшего из моды... Вообще, что касается проблемы литературной моды, то, пожалуй, лучшим пособием для её изучения являются именно работы опоязовцев. Они превосходно показали, например, как осуществляется взаимодействие определённых тенденций в литературе и в повседневном быту людей – взаимодействие, порождающее литературную моду, проявляющуюся в необычайно широком распространении тех или иных явлений и особенностей литературы...” Отсюда вытекало заключение: “Вполне естественно, что представители ОПОЯЗа, исследовавшие литературную моду, принципиально отказались от самой постановки проблемы художественной ценности”. В то время, как, утверждал исследователь, “литературу, в отличие от литературной моды, нельзя мерить тем эффектом, который она производит на современников...” При этом “сами общетеоретические основоположения опоязовцев, которые многие критики считали просто вздорными, неожиданно обретают адекватный себе объект. Так, для литературной моды существенны не внутреннее “содержание” и глубинные пласты формы, а внешние признаки тематики и стиля, “модные” темы в их взаимодействии с “модными” приёмами...”

В кожиновской интерпретации историко-литературные работы опоязовцев обретали своё законное место в истории отечественного литературоведения. Завершил же свою работу Кожинov необходимым в данном случае пассажем: “Тем, кто увидит в этом некое принижение работы высокоталантливых и широко известных исследователей, я повторяю в заключение: в XX веке изучение литературной моды (которая неотделима, в частности, от феномена “массовой культуры”), право же, достаточно важная задача...”

Поначалу эта статья, получившая окончательное название “История литературы в работах ОПОЯЗа”, вызвала крайне резкую реакцию Александра Дымшица, который в своей “внутренней рецензии” написал, что она “решительно не может быть помещена как позитивный вклад в отдел “теории”. Она совершенно неверна по ряду положений, печатать её в таком виде вредно (ни больше, ни меньше! – С. К.)”, так как для неё “характерен внесоциальный подход к формальной школе и к ОПОЯЗу”. Наибольшее возмущение у Дымшица вызвали именно страницы, посвящённые литературной моде. “Непонятно, зачем воскрешать и рекомендовать, утверждать иллюзии формалистов?”

Прошёл год. Кожинov внёс незначительные исправления в текст, после чего сия работа появилась-таки на страницах академического журнала.

Эту статью прочитали многие – и обозлились на Кожинова. Солидных аргументов против его концепции не нашлось – и тут же (как это часто бывает в “приличном обществе”) родилась сплетня о “кожиновском антисемитизме” (по умолчанию было “решено”, что критиковать сейчас “гонимых” некогда опоязовцев может только “антисемит”, – притом, что вся кожиновская работа построена не на “критике”, а на анализе, но это, естественно, игнорировалось).

1 марта 1971 года Давид Самойлов, который внешне был тогда с Кожиновым чуть ли не в дружеских отношениях, поднёс ему свою книгу “Дни”

(которую Кожинов считал у него лучшей из всех вышедших) с трогательной надписью: “Вадиму — человеку страстей, что для меня важнее, чем человек идей, — с пониманием (взаимным). Где бы мы ни оказались — друг друга не предадим. 1.03.71. Д. Самойлов”. В тот же самый день он записал в дневнике: “Странный, тёмный человек Кожинов”. А прочтя статью в “Вопросах литературы”, сделал следующую запись: “Фашист — это националист, презирающий культуру... Кожинов, написавший подлую статью об ОПОЯЗе, — фашист”.

Это к вопросу о том, как “мы... друг друга не предадим”...

* * *

А обстановка в идеологической жизни в это время всё более и более накалялась.

Уже знакомый нам Владислав Попов завершил кандидатскую диссертацию на тему “Учение ранних славянофилов и творчество Ф. М. Достоевского” и отдал её на чтение Кожинову. Тот прочитал — и при встрече обронил: “Сейчас начинается кампания против славянофилов, но это будет недолго. Защище это не помешает, а публикации — да. Если волна докатится до Краснодара, тебе будет трудно”. “И как в воду глядел, — записал в дневнике Попов. — Но случилось ещё хуже”.

В письмах Селезнёва, готовившегося к поступлению в аспирантуру Литературного института, к Попову впечатляют как подробности тогдашней литературной борьбы, так и отдельные упоминания о бытии Вадима Валериановича.

“Статью твою сняли из “Вопр(осов) фил(ософии)” не по каким-либо причинам её “неподходящей” концепции, а лишь потому, что после полемики была получена рекомендация прекратить какие бы то ни было публикации о славянофилах (и положительные, и негативные). Ланщиков написал замечательную работу о славянофилах... но её сняли по тем же причинам, так что, как видишь, — дело гораздо серьёзнее, чем могло показаться сразу — в этом отношении ты попал со своей диссертацией в неблагоприятный поток. Ни Вадим, ни Анатолий ничем помочь не смогут. И обижаться на них не стоит... Книгу Вадима (“Как пишут стихи”. — С. К.) достать невозможно. Она давно уже разошлась... Не можешь ли ты достать мне адрес... Виктора Лихоносова?... В журнале “Москва” мне дали “для проверки” работу — статью о его творчестве... Тем более ты, наверное, читал, — О. Михайлов написал о нём в “Современнике” хвалебную и глупую статью, за которую получил премию журнала, а в одном из последних номеров “Лит. газета” разругала эту статью последними словами. Первый номер “Нов. мира” разбомбил его за язык (см. статью Чудаковой — из ИМЛИ). Словом, он ушёл из “Нов. мира”, и его стали ругать там, а “Нов. мир” тем же, по существу, и остался. Вадиму страшно не понравилась его последняя повесть “Осень в Тамани”... т. е. задача у меня из труднейших, а отказаться от “проверки” нежелательно, т. к. выбирать мне не приходится: не хочешь — не надо. А пробиваться в журналы необходимо, тем более что “Москва” кажется наиболее спокойной... В “Кубани” напечатали статью Ланщикова, — видимо, новая попытка Веленгурина (главного редактора альманаха. — С. К.) для поддержания тиража... но её уже обругали и не кто-нибудь, а сам Озеров (Виталий Озеров — главный редактор “Вопросов литературы”. — С. К.) в отчётном докладе на пленуме. В самом докладе в ЦДЛ он сделал намёк на реабилитацию Вадима в связи с его же статьёй в “Известиях” насчёт полемики Вадима с Аннинским в “Кодрах”, но, к сожалению, в печатный доклад это не вошло... Если у тебя есть возможность достать любые сборники А. Передреева, Вас. Казанцева... — ты знаешь, это друзья Вадима, я с ними познакомился, и мне нужно их иметь. А здесь (в Краснодаре. — С. К.) достать невозможно...”

К слову: Василия Казанцева — в отличие от Передреева — трудно было назвать “другом Вадима”. Кожинов не раз говорил, что по-человечески Казанцев был слишком далёк от него, что не мешало Вадиму Валериановичу высочайшим образом оценить его стихи и не раз написать о них как о высокой современной поэтической классике.

“Руководитель мой” — Кирпотин, кажется, он “признал” меня. Вадим говорит, что это очень даже неплохо, т. к. Кирпотин, конечно, — огромная величина и как руководитель весьма сносен. У Вадима бываю нечасто, он бросил

пить и работает – (!) Правда, докторскую он решил отложить на время, т. к. готовит к печати труды Бахтина (он вывез их целый чемодан – показывал мне), среди них есть уникальные, перед кот., видимо, прошлые могут поблекнуть. У М. М. умерла супруга (Вадим по этому случаю ужасно запил – после чего и бросил), сам М. М. сейчас в Переделкино и очень-очень плох. Мы ездили к нему туда – так что я с ним тоже познакомился и разговаривал и даже о своей работе (Юрий Селезнёв писал кандидатскую диссертацию “Поэтика пространства и времени в романах Ф. М. Достоевского”. – С. К.), и он поддержал. Правда, посетовал, что я в лит. институте – говорит, “несерьёзно это”, – но Вадим говорит, мол, в ИМЛИ никак нельзя и т. п. ... Познакомился с Гачевым и Палиевским, а с Бочаровым ещё в прошлый приезд... (Да, Бахтин вспоминал молодые годы и встречи, рассказывал многие интересные случаи о Цветаевой, Клюеве и др.)...

“... Мне случайно удалось в одном из магазинчиков купить книгу, о которой ты писал, и вчера я был у Вадима, он с удовольствием подписал её тебе... Он много пишет, но ничего не публикует и снова стал попивать. Правда, понемногу, но “лиха беда начало”. Бахтину несколько лучше (одно время он был совсем плох, и думали, что не выкарабкается). Сейчас Вадим с Бочаровым бьются насчёт квартиры для него, где-нибудь в Подмоскowie...”

“... Сейчас накопилась уйма дел. Сiju день и ночь. Вадим уехал на дачу. Последнее время он снова много пьёт и редко выбирается из этого состояния. По этому поводу мы не раз с ним ругались. Жизнь моя однообразна. Общежитие и иногда у Вадима – и всё. Никуда больше не хожу... С “Вопр. лит.” дела неважные. Из-за моей рецензии (на книгу Г. Фридлиндера. – С. К.) вышел небольшой скандал. Печатать её отказались... Вообще с рецензиями туго и в др. журналах. У них уже выработались свои эталоны, правила и т. п. И нужно под них подгонять. Для того чтобы писать, как ты можешь, нужно имя, а его нет...”

... Упоминания в этих письмах о периодическом пьянстве Кожинова, безусловно, отражают реальность, но нуждаются в определённом уточнении.

Кожинов в это время, действительно, много писал – и, увы, много пил. Это была не просто разрядка после тяжёлой напряжённой работы. Вокруг происходило расслоение бывшего дружеского круга.

Истончались (хотя ещё и оставались) связи с “поэтическим кружком” – после гибели Рубцова, как вспоминал сам Вадим Валерианович, “всё начало рассыпаться”. Прекратил своё существование “Русский клуб”, а ВООПИКе стало всё больше ощущаться бюрократическое начало, в результате чего и Палиевский, и Кожинов стали там бывать всё реже и реже. Не обманывало и предчувствие очередного “властного” наката на русских поэтов и критиков, отстаивавших вековые традиции, – запрет на дальнейшие печатные обсуждения наследия славянофилов говорил о многом.

Кожинов давно перестал писать стихи. Но тут у него стали выливаться на бумагу катастрофические строки под стать его тогдашнему состоянию, которые он в хмельном виде читал своим друзьям по телефонной связи:

*Брат мой русский, а может, и нет нас?
Ни величия нет, ни беды.
То ли чужь, то ли жмудь, то ли вепсы
На земле оставляют следы.
Ну, а если хоть что-то осталось,
Лихоletье, столетье одно, —
Ты поймёшь, ты простишь эту малость —
Так стремительно кануть на дно.*

Через много лет в очередной беседе с Аннинским Кожинов объяснил смысл этих строк: “... Я имел в виду не совсем то, что хотел видеть во мне ты, – провидца современного государственного распада. Я имел в виду другое; там же и сказано: “Стремительно кануть на дно”, а не распасться. А то, что Россия канула на дно, для меня это было тогда ясно”.

(Продолжение следует)